

Юлий Даниэль

# Говорит Москва



## Аннотация

**Секретно**  
**ЦК КПСС**

**В дополнение к N 2138-с от 17 сентября 1965 года**

Докладываем, что предварительное следствие по делу на СИНЯВСКОГО А.Д. и ДАНИЭЛЯ Ю.М., обвиняющихся в совершении преступления, предусмотренного ст. 70 ч.1 УК РСФСР, в ближайшее время (до 10-15 января 1966 года) Комитетом госбезопасности будет закончено.

Расследование установило, что СИНЯВСКИЙ и ДАНИЭЛЬ в период 1956-1963 г.г. под псевдонимами Абрам ТЕРЦ и Николай АРЖАК написали и по нелегальному каналу передали за границу ряд произведений антисоветского клеветнического содержания, порочащих советский государственный и общественный строй.

К таким произведениям относится повесть АРЖАКА "Говорит Москва", которая представляет собой злобный пасквиль на нашу действительность. Советский Союз в этом произведении показан как огромный концентрационный лагерь, где народ подавлен, запуган, озлоблен. По мысли автора, он так обработан "психологически", что слепо подчиняется всяческому разнузданному произволу властей, помогает им проводить в жизнь самые дикие мероприятия, отбрасывающие страну чуть ли не к первобытному состоянию.

События развертываются вокруг чудовищного авторского вымысла о том, что будто бы указом Верховного Совета СССР от 1960 года воскресенье, 10 августа, объявляется "Днем открытых убийств". Указ этот, с издевкой утверждает автор, является логическим продолжением начавшегося процесса демократизации страны, ... неизбежной мерой легализации убийств, которая лежит в самой сути учения о социализме.

Рассказы ТЕРЦА, собранные в сборник под названием "Фантастические повести", пронизаны чуждой нам моралью, клеветой на советских людей, на систему социализма, на нашу действительность. Автор этого произведения клеветает на советский образ жизни, делает попытку убедить читателя в том, что советское общество – это искусственная система, навязанная народу, который не верит ни в социализм, ни в марксизм, держится на страхе и боязни. (фрагмент подлинного документа)

**Юлий Даниэль (Николай Аржак) Говорит Москва**

– Миу! – это плачет маленький котенок.

– Миу! – он еще мяукать не умеет.

Одиночеством безмерно угнетенный,

Он тоскливо бродит меж скамеек.

Рядом грубые, нескромные, большие

На скамейках восседают люди.

Словно псы, кругом рычат машины.

Он боится. Как же дальше будет?

На его на жалкий интеллект кошачий

Неожиданность нечаянно свалилась.

– Миу! – кот раскрепощенный плачет.

– Объясните! Окажите милость!...

Что ж, он возмущает в странствиях суровых,

Он украсится ногтями и клыками,

Как стеклом разбитых поллитровок,

Засверкает желтыми зрачками;

Он оставит "миу". Скажет в полный голос,

Что вцепиться сможет в каждого громилу;

А пока что – сердце расколосось,

А пока что – "Миу... миу... миу..."

**Илья Чур. «Московские бульвары».**

## I

Сейчас, когда я пытаюсь мысленно восстановить события минувшего лета, мне очень трудно привести мои воспоминания в какую-то систему, связно и последовательно изложить все, что я видел, слышал и чувствовал; но тот день, когда это началось, я запомнил очень хорошо, до мельчайших деталей, до пустика.

Мы сидели в саду, на даче. Накануне все мы, приехавшие на день рождения к Игорю, крепко выпили, шумели допоздна и, наконец, улеглись в полной уверенности, что проспим до полудня; однако загородная тишина разбудила нас часов в семь утра. Мы поднялись и дружно стали совершать всякие нелепые поступки: бегали в одних трусиках по аллеям, подтягивались на турнике (больше пяти раз никто так и не сумел подтянуться), а Володька Маргулис даже окатился водой из колодца, хотя как всем было известно, по утрам он никогда не умывался, ссылаясь на то, что опаздывает на работу.

Мы сидели и бодро спорили о том, как наилучшим образом провести воскресенье. Само собой, вспоминались и купанье, и волейбольный мяч и лодка; какой-то зарвавшийся энтузиаст предложил даже пеший поход в соседнюю деревню в церковь.

– Очень хорошая церковь, – сказал он, – очень старая, не помню, какого века...

Но его высмеяли – никому не улыбалось переть по жаре восемь километров.

Наверное, странное зрелище представляли мы, тридцати-тридцатипятилетние мужчины и женщины, раздетые, как на пляже. Мы деликатно старались не замечать друг у друга всякие смешные и грустные неожиданности: впалую грудь и намечающиеся лысинки у мужчин, волосатые ноги и отсутствие талии у женщин. Все мы знали друг друга давно, нам были знакомы костюмы, галстуки и платья друг друга, но каковы мы без одежды, в натуральном виде – этого никто себе не представлял. Кто бы мог подумать, например, что Игорь, такой элегантный и всегда подтянутый, имевший несомненный успех у сослуживиц в своей академии, что этот самый Игорь окажется кривоногим? Разглядывать друг друга было так же интересно, смешно и стыдно, как смотреть порнографические открытки.

Мы сидели, прочно прижавшись задами к стульям, жалко выглядевшим на траве, и говорили о предстоящих нам спортивных подвигах. Вдруг на террасе появилась Лиля.

– Братцы, – сказала она, – я ничего не понимаю.

– А что ты, собственно, должна понимать? Иди к нам.

– Я ничего не понимаю, – повторила она, жалобно улыбаясь, – радио... По радио передавали... Я самый конец услышала... Через десять минут снова передавать будут.

– Очередное, – дикторским басом сказал Володька, – двадцать первое по счету снижение цен на хомуты и чересседельники...

– Идите в дом, – сказала Лиля. – Пожалуйста...

Мы всей гурьбой ввалились в комнату, где на гвоздике скромно висела пластмассовая коробочка репродуктора. В ответ на наши недоуменные вопросы Лиля только вздыхала.

– Паровозные вздохи, – сострил Володька. – А что, здорово сказано? Прямо ильфо-петровский эпитет.

– Лилька, брось нас разыгрывать, – начал Игорь. – Я знаю, тебе скучно одной

посуду мыть...

И в это время радио заговорило.

– Говорит Москва,

– произнесло оно, -

говорит Москва.

Передаем Указ Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик от 16 июля 1960 года.

В связи с растущим благосостоянием...

Я оглянулся. Все спокойно стояли, вслушиваясь в раскатистый баритон диктора, только Лиля суетилась, как фотограф перед детьми, и делала приглашающие жесты в сторону репродуктора.

... навстречу пожеланиям широких масс трудящихся...

– Володя, дайте мне спички, – сказала Зоя. На неё шикнули. Она пожала плечами и, уронив в ладонь незажженную сигарету, отвернулась к окну.

... объявить воскресенье 10 августа 1960 года...

– Вот оно! – крикнула Лиля.

...Днем открытых убийств. В этот день всем гражданам Советского Союза, достигшим шестнадцатилетнего возраста, предоставляется право свободного умерщвления любых других граждан, за исключением лиц, упомянутых в пункте первом примечаний к настоящему Указу. Действие Указа вступает в силу 10 августа 1960 года в 6 часов 00 минут по московскому времени и прекращается в 24 часа 00 минут.

Примечания. Пункт первый. Запрещается убийство: а) детей до 16-ти лет, б) одетых в форму военнослужащих и работников милиции и в) работников транспорта при исполнении служебных обязанностей. Пункт второй. Убийство, совершённое до или после указанного срока, равно как и убийство, совершённое с целью грабежа или являющееся результатом насилия над женщиной, будет рассматриваться как уголовное преступление и караться в соответствии с существующими законами. Москва. Кремль. Председатель Президиума Верховного...

Потом радио сказало:

– Передаем концерт легкой музыки...

Мы стояли и обалдело смотрели друг на друга.

– Странно, – сказал я, – очень странно. Непонятно, к чему бы это.

– Объяснят, – сказала Зоя. – Не может быть, чтобы в газетах не было разъяснений.

– Товарищи, это провокация! – Игорь заметался по комнате, разыскивая рубашку. – Это провокация. Это "Голос Америки", они на нашей волне передают!

Он запрыгал на одной ноге, натягивая брюки.

– Ох, извините! – Он выскочил на террасу и там застегнул ширинку. Никто не улыбнулся.

– "Голос Америки"? – задумчиво переспросил Володька. – Нет, это невозможно. Технически невозможно. Ведь сейчас, – он взглянул на часы, – половина десятого. Идут передачи. Если бы они работали на нашей волне, мы бы слышали и то, и другое...

Мы снова вышли наружу. На террасах соседних дач появились полуодетые люди. Они сбивались группами, пожимали плечами и бестолково жестикулировали.

Зоя закурила, наконец, свою сигарету. Она села на ступеньку, упершись локтями в колени. Я смотрел на её обтянутые купальником бедра, на грудь, наполовину открытую глубоким вырезом. Несмотря на полноту, она была очень хороша. Лучше всех остальных женщин. Лицо у нее, как всегда, было спокойным и немного сонным. За глаза её называли "Мадам Флегма".

Игорь стоял среди нас совершенно одетый, как миссионер среди полинезийцев. После категорического заявления Володьки о том, что сообщение по радио не могло быть фокусами заокеанских гангстеров, он присмирел. Видно, он уже жалел о том, что так решительно объявил передачу провокацией. Но, по-моему, он напрасно испугался: стукачей среди нас вроде не должно было быть.

– Отчего мы, собственно, всполошились? – бодро сказал он. – Зоя права: будут разъяснения. Толя, ты как думаешь?

– А чёрт его знает, – пробормотал я. – Еще почти месяц до этого самого, как его, Дня открытых...

Я осекся. Мы снова с недоумением уставились друг на друга.

– Ладно, – Игорь тряхнул головой. – Я думаю, это все связано с международной политикой.

– С президентскими выборами в Америке?

– Да Игорек?

– Ох, Лилька, ты-то уж помолчала бы! Черт-те что несешь!

– Идемте купаться, – сказала Зоя, поднимаясь. – Толя, принеси мою резиновую шапочку.

Очевидно, вся эта неразбериха даже её выбила из колеи, иначе бы она не назвала меня при всех на "ты". Но этого, кажется, никто не заметил.

Когда мы шли к речке, Володька нагнал меня, взял под руку и сказал, скорбно глядя своими библейскими глазами:

– Понимаешь, Толя, я думаю, здесь что-то насчет евреев замышляют...

## II

*Ну кто бы смог, ну кто бы вынес,  
Когда бы не было для нас  
Торговли масками на вынос  
На каждый день, на каждый час?*

*Рядись лифтером и поэтом,  
Энтузиастом и хлыщом,  
Стучись в окошко за билетом,  
Ори! Но но забудь при этом,  
Что "Вход без масок воспрещён".*  
**Илья Чур. «Билеты продаются».**

Вот я пишу все это и думаю: а зачем мне, собственно, понадобилось делать эти записи? Опубликовать их у нас никогда не удастся, даже показать прочесть некому. Переправить за границу? Но, во-первых, это практически неосуществимо, а во-вторых, то, о чем я собираюсь писать, уже рассказано в сотнях зарубежных газет, по радио об этом день и ночь трещали; нет, у них там все это давно обсосано. Да, по правде говоря, это и не очень красиво – печататься в антисоветских изданиях.

Я притворяюсь. Я знаю, зачем я пишу. Я должен сам для себя уяснить, что же всё-таки произошло. И, главное, что произошло со мной? Вот я сижу за своим письменным столом. Мне тридцать пять лет. Я попрежнему работаю в этом дурацком промышленном издательстве. Внешность моя не изменилась. Вкусы тоже. Так же, как и раньше, я люблю стихи, люблю выпить, люблю баб. И они меня, в общем, любят. Я в свое время был на войне. Убивал. Меня самого чуть не убили. Когда женщины вдруг притрагиваются к шраму на моем бедре, они отдергивают руку и вскрикивают шёпотом: "Ой, что это у тебя?" "Это ранение, – говорю я, – рубец от разрывной". "Бедный, – говорят они, – это было очень больно?" В общем, все, как и раньше. Любой знакомый, любой приятель, сослуживец сказал бы: "Ну, Толька, ты совершенно не меняешься!" Но ведь я – то знаю, что этот день схватил меня за шиворот и ткнул в лицо самому себе! Я-то знаю, что мне пришлось знакомиться с собой заново!

И еще одно. Я не писатель. В юности писал стихи, да и сейчас могу – к случаю; написал несколько театральных рецензий – думал таким манером пробиться в литературу, но ничего не вышло. Но я всё-таки пишу. Нет, я не графоман. Графоманы (я с ними часто встречаюсь по своей должности литсотрудника), графоманы уверены в собственной гениальности, а я знаю, что таланта у меня нет. Или, если есть, то небольшой. А писать очень хочется. Ведь что хорошо в моем положении, что приятно? Знаю заранее, что никто читать не будет, и могу писать безбоязненно, все, что в голову придет! Захочу написать:

"И черной Африкой рояль По-негритянки зубы скалит" – и напишу. Никто меня ни в претенциозности, ни в колониализме не упрекнёт. Захочу написать о правительстве, что все они демагоги, лицемеры и вообще сволочи – и это напишу... Я могу позволить себе эту роскошь быть коммунистом наедине с самим собой.

А если быть откровенным до конца, то я всё-таки надеюсь, что у меня будут читатели – не сейчас, конечно, а через много-много лет, когда меня уже в живых не будет. В общем – "когда-нибудь монах трудолюбивый прочтет мой труд усердный, безымянный..." И думать об этом приятно.

Ну, вот, теперь, когда я совершенно открылся перед моим предполагаемым, воображаемым читателем, можно и продолжать.

Веселья у нас в тот день так и не получилось. Острили скучно, играли без азарта, пить не стали совсем и разъехались рано.

В Москве на другой день я пошел на работу. Я заранее знал, что будет неминуемый треп об Указе, знал, кто будет высказываться, а кто помалкивать. Но, к удивлению моему, помалкивали почти все. Два-три человека, правда, спросили меня: "Ну, что вы обо всем этом думаете?" Я промямлил что-то вроде: "Не знаю... там видно будет..." – и на том разговоры прекратились.

Через день в "Известиях" появилась большая редакционная статья "Навстречу Дню открытых убийств". В ней очень мало говорилось о сути мероприятия, а повторялся обычный набор: "Растущее благосостояние – семимильными шагами – подлинный демократизм – только в нашей стране все помыслы – впервые в истории – зримые черты – буржуазная пресса... Еще сообщалось, что нельзя будет причинять ущерб народному достоянию, а потому запрещаются поджоги и взрывы. Кроме того, Указ не распространялся на заключенных. Ну, вот. Статью эту читали от корки до корки, никто по-прежнему ничего не понял, но все почему-то успокоились. Вероятно, самый стиль статьи – привычно-торжественный, буднично-высокопарный – внес успокоение. Ничего особенного: "День артиллерии", "День советской печати", "День открытых убийств"... Транспорт работает, милицию трогать не велено – значит порядок будет. Все вошло в свою колею.

Так прошло недели полторы. И вот началось нечто такое, что трудно даже определить словом. Какое-то беспокойство, брожение, какое-то странное состояние. Нет, не подобрать выражения! В общем, все как-то засуетились, забегали. В метро, в кино, на улицах появились люда, которые подходили к другим и заискивающе улыбаясь, начинали разговор о своих болезнях, о рыбной ловле, о качестве капроновых чулок – словом, о чем угодно. И если их не обрывали сразу и выслушивали, они долго жали собеседнику руку, благодарно и проникновенно глядя в глаза. А другие – особенно молодежь – стали крикливыми, нахальными, всяк выпендривался на свой лад; больше обычного пели на улицах и орали стихи, преимущественно Есенина. Да, кстати насчет стихов. "Литература и жизнь" дала подборку стихотворений о предстоящем событии – Безыменского, Михалкова, Софронова и других. Сейчас, к сожалению, я не смог достать этот номер, сколько не пытался, но кусок из софроновского стихотворения помню наизусть:

Гудели станки Ростсельмаша,  
Фабричные пели гудки,  
Великая партия наша  
Троцкистов брала за грудки.  
Мне было в ту пору семнадцать,  
От зрелости был я далек,  
Я в людях не мог разобраться,  
Удар соразмерить не мог.  
И, может, я пел тогда громче,  
Но не был спокоен и смел:  
Того, пожалев, не прикончил,  
Другого добить не сумел...

В совершенно астрономическом количестве появились анекдоты; Володька Маргулис бегал от одного приятеля к другому и, захлебываясь, рассказывал их. Он

же, выложив мне как-то весь свой запас, сообщил о том, что Игорь на каком-то собрании у себя в академии высказался в том смысле, что 10 августа есть результат мудрой политики нашей партии, что Указ еще раз свидетельствует о разворачивании творческой инициативы народных масс – ну, и так далее, в обычном духе.

– Понимаешь, Толька, – сказал он, – хотя я и знал, что Игорь – карьерист и все такое, но этого я от него не ожидал.

– А почему? – спросил я. – А что тут особенного? Поручили выступить – он и выступил: был бы ты, как Игорь, членом партии, и ты бы высказывался на всю катушку.

– Я? – Никогда! Во-первых, я ни за что не вступлю в партию, во-вторых...

– Во-первых, во-вторых, не ори. Чем ты лучше Игоря? А ты у себя в школе во время дела врачей не трепался о национализме?

Я сказал и сразу пожалел, что сказал. Это его больное место. Он простить себе не может, что на какое-то время тогда поверил газетам.

– Расскажи лучше, что у тебя с Нинкой. – сказал я примирительно. – Ты её давно видел?

Володька оживился.

– Понимаешь, Толя, трудно я люблю, – сказал он, – трудно. Я ей вчера позвонил, говорю, что хочу её видеть, а она отвечает...

И Володька принялся подробно рассказывать, что она ему ответила, что он ей сказал, что они оба сказали.

– Понимаешь, Толя, ты же меня знаешь, я человек не сентиментальный, но тогда я чуть не заревел...

Я слушал его и думал о том, как люди умудряются создавать проблемы на пустом месте. Володька женат, у него двое детей, он преподает литературу в школе, лучший методист района и, в общем-то, умный парень. Но его романы! Конечно, жена у него халда, спору нет, от такой жены на любую бабу кинешься. Ну. и кидайся на здоровье. А к чему эти переживания, страсти африканские, весь этот провинциальный гамлетизм? И слова-то какие: "нравственные обязательства", "душевная раздвоенность", "она в меня верит"... Кстати, "она в меня верит", говорится и о жене и об очередной пассии. Нет, я на все это проще смотрю. С самого начала не нужно никакой игры, никакой дипломатии, никаких обязательств, чтобы все было честно. Нравимся друг другу? Отлично. Хотим друг друга? Превосходно. Чего еще надо? А – а, супружеская измена, адюльтерчик! Ну, и что? Я, если женюсь, не буду терзаться Володькиными проблемами, я просто буду сообщать заранее: "Я, знаете ли, женат, разводиться не собираюсь, а вот вы мне здорово нравитесь. Подходит это вам? Чудесно, где и когда мы встретимся? Не подходит? Очень жаль, до свиданья, подумайте всё-таки..." Вот так. Ну, разумеется, не так примитивно. И, по-моему, это гораздо лучше, чем трепаться о несходстве духовных запросов между тобой и твоей женой, о том, что, "конечно, я свою жену уважаю, но..." Я еще ни одной женщины не обидел всерьез, а все потому, что не разрешал им строить иллюзии на свой счёт...

Володька поговорил еще с полчаса о своей трудной любви и ушел. Я проводил его, но он тут же позвонил, просунул голову в приоткрывшуюся дверь и сказал шепотом, чтобы соседи не услышали:

– Толя, а если 10 августа будет еврейский погром, я буду драться. Это им не Бабий Яр, не тракторный завод. Я их, гадов, стрелять буду. Вот, смотри!

И он, распахнув пиджак, показал высунувшуюся из внутреннего кармана рукоять офицерского ТТ, сбереженного им с военных лет.

– Они меня задешево не возьмут...

Когда он окончательно ушел, я долго стоял посреди комнаты. Кто "они"?

### III

*Нет, Алкиной, ты не прав: есть бесконечность в природе.*

*Служит примером тому глупость и подлость людей.*

**Кирилл Замоиский. «Опыты и поучения».**

– Ах, Толя, вы просто не хотите рассуждать всерьез! Вы поймите такую простую вещь...

Мой сосед по квартире намыливал мочалкой грязную посуду; брюхо поросшее седыми волосами, туго обтянутое сеткой выпирало из штанов, ложилось на край рукописи. Он ужасно горячился, хотя я ни словом не возражал ему.

– ...нет, нет, поймите меня правильно! кто-кто, а уж я – то не поклонник газетных штампов. Но факты есть факты, и надо смотреть им в глаза... Сознательность-то действительно выросла! Эрго: государство вправе поставить широкий эксперимент, вправе передать отдельные свои функции в руки народа! Вы посмотрите – бригады содействия милиции, комсомольские патрули, народные дружины по охране общественного порядка – это же факт! И факт многозначительный. Разумеется, и у них случаются ошибки, так сказать, ляпсусы – узкие брюки порезали, девиц каких-то обстригли – так ведь без этого не бывает! Издержки производства! Лес рубят! И теперешний Указ это не что иное, как логическое продолжение уже начавшегося процесса – процесса демократизации. Демократизации – чего? Демократизации органов исполнительной власти. Идеал же, поймите меня правильно – постепенное растворение исполнительной власти в широких народных массах, в самых, так сказать, низах. То есть, не в низах, я не так выразился, какие у нас низы, ну, вы меня понимаете... И поверьте моему слову, слову старого юриста – передо мной сотни, тысячи, десятки тысяч людей прошли – поверьте моему слову: народ в первую очередь сведет счеты с хулиганами, с тунеядцами, с отбросами общества... Да-да, помните, как у Толстого: "Всем миром навалиться хотят! Один конец сделать хотят!" Вот именно, Толя, – "всем миром", общиной, так сказать, "обществом", по-русски...

Я с нетерпением ждал, когда он выронит скользкую тарелку, и он, наконец, кокнул ее. На шум выплыла из комнаты его жена, неодобрительно посмотрела на осколки и на меня и сказала ровным голосом:

– Петр, иди в комнату.

"Мало тебя, дурака, в лагере держали", – подумал я вслед ему и пошел открывать на звонок.

Вошла Зоя.

Мы прошли в мою комнату, и Зоя, облегченно вздохнув, сбросила туфли. Я люблю смотреть, как женщины снимают туфли, меняется (Форма ноги, линия сразу становится интимной, домашней, какой-то простодушной.

– Ты в белых тапочках, – сказал я, указывая на её незагорелые ступни. –

Покажи, где ты еще белая.

- Я хотела с тобой поговорить, – ответила она, – ну, ладно, потом... Я обнял ее.
- Запри дверь, – сказала она.

...Мы лежали рядом, чуть отодвинувшись друг от друга. Кожа у Зои была прохладной, несмотря на жару; её светло-коричневое тело было трижды опоясано белыми лентами: на груди, на бедрах и на ступнях. Она лежала рядом со мной, свободно и бесстыдно раскинувшись, прекрасная и сверкающая, как клоун на манеже, и я чувствовал, что очень люблю ее. И мне хотелось также свободно и бесстыдно подмигнуть кому-то, какому-то воображаемому наблюдателю и. может быть, соучастнику, и сказать ему: "Посмотри, дружище, какая мне женщина досталась!" Я лежал и думал, что, вероятно, происходящее между нами и называется "жизнью": борьба, завоевание, взаимная капитуляция, утверждение и яростное отрицание, пронзительное ощущение себя и полное растворение отчуждения и слияния – все вместе, все одновременно. И мне было в эту минуту безразлично, что она замужем, что этой умной, покорной, постоянно ждущей плотью владею не я один, что у неё есть муж, ласкающий её на законных основаниях, что через месяц вернётся с курорта моя сестра, и Зоя уже не сможет приходить ко мне, что нам снова придется, как бездомным котам, лазать по всяким чердакам и подъездам, что снова я буду удивляться и даже чуть-чуть шокироваться её способностью отдаваться в самых неподходящих условиях, и я снова буду ей за это очень благодарен, и сейчас мне было безразлично все это. Я лежал и ждал, когда она заговорит.

И она заговорила.

- Толя, – сказала она. – Скоро "День открытых убийств".

Она произнесла эти слова очень просто и деловито, как если бы сказала: "Скоро Новый год", или "Скоро майские праздники".

- Ну и что же? – спросил я. – Какое это к нам имеет отношение?

– Разве тебе не надоело прятаться? – спросила она. – Ведь мы можем все переменить.

- Я не понимаю, – пробормотал я. Но я врал – я уже все понял.

- Давай убьем Павлика.

Она так и сказала: "Павлика". Не "мужа", не "Павла", а именно "Павлика". Я почувствовал, как у меня деревенеют губы.

- Зоя, ты в своем уме? Что ты говоришь?

Зоя медленно повернула голову и потерлась щекой о мое плечо.

– Толенька, не волнуйся только, ты только подумай спокойно. Ведь другого такого случая не будет. Я уже все обдумала. Ты придёшь к нам накануне. Скажешь, что хочешь провести этот день у нас. Ведь мы с Павликом решили никуда не выходить, и мы это сделаем вдвоём с тобой. А потом ты переедешь ко мне. И мы поженимся. Я бы не стала тебя впутывать в это, я бы сама все сделала, но я просто боюсь не справиться.

Она говорила, а я лежал и слушал, и каждое её слово, как мгновенное удушье, хватало меня за горло.

- Толя, ну что же ты молчишь?

Я прокашлялся и сказал:

- Уходи.

Она не поняла.

– Куда?

– К чёрту, – сказал я.

Зоя несколько секунд смотрела мне в глаза, потом встала и начала одеваться. Она надела лифчик, потом трусики, потом комбинезон. Я следил за тем, как она скрывается под одеждой. Она накинула платье, сунула ноги в туфли и стала причёсываться.

Причесавшись она взяла сумочку и отперла дверь. На пороге обернулась и сказала негромко:

– Слякоть.

И ушла. Я слышал, как щелкнул замок входной двери.

Я встал и оделся. Я аккуратно застелил развороченную постель. Я подмел в комнате. Я сделал много движений, сосредоточиваясь на каждом из них.

Мне очень не хотелось думать.

#### IV

*Я их ненавижу до спазм,  
До клетка в горле, до дрожи.  
О, если собрать бы, да разом  
Всех этих блядей уничтожить!...*

**Георгий Болотин. «Трубы времени».**

А думать всё-таки пришлось. Может быть, это глупо, но больше всего меня ошеломило брошенное Зоей словечко "слякоть": ведь я не трус, я это знаю, я убедился в этом и на фронте, да и после войны бывали всякие случаи. А Зоя решила, что я трусил. Да нет, какая там трусость, просто это же дико: взять и убить Павлика, безропотного, кроткого, ничего не замечающего Павлика. Ну да, мы обманывали его; если бы он узнал о нашей связи, он бы, конечно, страдал; мы пили на его деньги, мы смеялись над ним в глаза и за глаза; все это так – но убить? За что? и зачем? Ведь если на то пошло, если дело только в том, чтобы выйти за меня замуж, то она могла бы и развестись?! Значит... убийство – не просто средство избавиться от нелюбимого, глуповатого и пожилого мужа? Значит, для неё в убийстве есть какой-то непонятный для меня смысл? Может быть, она его ненавидит, мстит? Ну, конечно, она мстит за то, что в свое время, в девятнадцать лет, влюбилась в него, а он только и умеет, что говорить: "Техника на грани фантастики", "Ключ от квартиры, где деньги лежат" – да рассказывать еврейские и армянские анекдоты... Она не в состоянии не ненавидеть его. Ну, конечно, если ненавидит, то может и убить. Это-то я понимаю. Ненависть дает право на убийство. Ненавидя я и сам могу... Могу? Ну, разумеется, могу. Безусловно, могу. Кого я ненавижу? Кого я ненавидел за всю свою жизнь? Ну, школьные годы не в счет, а вот взрослым? Институт. Я ненавидел одного из преподавателей, который четыре раза подряд нарочно срезал меня на зачёте. Ну, ладно, чёрт с ним, это было давно. Начальство разных мастей, с которым мне довелось работать. Да, это были подлецы. Они изрядно попортили мне кровь. Морду бы им набить, сволочам. Кто еще? Писатель К., пишущий черносотенные романы. Да, да, я помню, как я говорил, что убил бы его, если бы знал, что мне за это ничего не будет. О, его мерзавца, стоило

бы проучить! Да так, чтоб он больше никогда к перу не прикоснулся... Ну, а эти, толстомордые, заседающие и восседающие, вершители наших судеб, наши вожди и учителя, верные сыны народа, принимающие приветственные телеграммы от колхозников Рязанской области, от металлургов Криворожья, от императора Эфиопии, от съезда учителей, от Президента Соединенных Штатов, от персонала общественных уборных? Лучшие друзья советских физкультурников, литераторов, текстильщиков, дальтоники и умалишенных? Как с ними быть? Неужто простить? А тридцать седьмой год? А послевоенное безумие, когда страна, осатанев, билась в падучей, кликушествовала, пожирая самое себя? Они думают, что если они наклали на могилу Усатому, так с них и взятки гладки? Нет, нет, нет, с ними надо иначе; ты ещё помнишь, как это делается? Запал. Сорвать предохранительное кольцо. Швырнуть. Падай на землю. Падай! Рвануло. А теперь – бросок вперед. На бегу – от живота, веером. Очередь. Очередь. Очередь... Вот они лежат, – искромсанные взрывом, изрешеченные пулями. Скользко: ноги скользят. Кто это? Ползет, волоча за собой кишки по паркету, усыпанному штукатуркой. А, это тот, обвешанный орденами, который сопровождает Главного в поездах! А почему он такой худой? Почему на нем ватник? Я его уже видел один раз, как он полз по грейдеру, вывалив в пыль синеву и красноту своего живота. А эти? Я их видел? Только тогда на них были пояса с надписью "Готт мит унс" на пряжках, фуражки с красными звездами, сапоги с низким подъемом, прямой наводкой, обмоткой, пилоткой, русские, немцы, грузины, румыны, евреи, венгры, бушлаты, плакаты, санбаты, лопаты, по трупу прошел студебеккер, два студебеккера, восемь студебеккеров, сорок студебеккеров, и ты так же будешь лежать, распластанный, как лягушка, – все это уже было!...

Я встал с постели, подошел к окну и вытер занавеской залитое потом лицо. Потом я пошел на кухню, умылся над раковиной и надел пиджак. Дома я больше оставаться не мог.

Я шел по улице, раскаленной августовским солнцем; навстречу мне шли домохозяйки с авоськами, мальчишки оглушительно жужжали подшипниками самолетов, потные пожилые мужчины брели по тротуару, останавливаясь возле каждого киоска с газировкой. Я вышел на угол Арбата и Смоленской площади и остановился. Хорошо бы в гости к кому-нибудь. К кому? Лето, все на дачах. А кто не на даче, тот наверняка в Серебряном бору или еще где-нибудь, где купаются. И хорошо бы выпить. Я вспомнил, что недалеко, по дороге к Киевскому вокзалу живет Саша Чупров, художник, мой приятель. Если я даже не застаю его дома, я все равно посижу там: дверь его комнаты никогда не запиралась.

Я зашел в угловой "Гастроном" и побрел по залам, отыскивая винный отдел. Я подходил к прилавкам и смотрел, как работают продавцы. В своей магазинной униформе, они были все похожи друг на друга, но держались по-разному: деловито и солидно в колбасном отделе, равнодушно и надменно во фруктовом, кокетливо и услужливо в кондитерском, бестолково и суматошно в бакалее. В винном отделе, до которого, наконец, я добрался, они были снисходительны и чуточку фамильярны. Я стоял и разглядывал вертушку с бутылками, конусом возвышающуюся возле колонны. Здесь хранились эмоции. Разлитые по бутылкам, прихлопнутые сверху сургучом, они были снабжены случайными этикетками: "Коньяк", "Столичная", "Гурджаани"; а на самом деле туда загнали меланхолию, веселье, необузданный гнев, трогательную доверчивость, обидчивость и отвагу. Эмоции ждали своей поры. Они должны были выйти на свет из своих стеклянных тюрем, услышать глупые

напутственные тосты и взыграть в руках, сдергивающих скатерти, в нечаянно целующих губах, в легких, набирающих побольше воздуха, чтобы достойно исполнить "Подмосковные вечера". "Время работает на нас, – думали они, разноцветно поблескивая в свете электричества, – наше дело правое, будет и на нашей улице праздник..." Я купил бутылку коньяку (грузинского, на лучший у меня не хватило), лимон и вышел из магазина.

Чупров оказался дома.

– А, это ты, старик, – мрачно сказал он: – Заходи...

Просторная и светлая комната была невероятно захламлена. На полу валялся раскрытый этюдник, на столе, под столом, на подоконнике лежали рулоны бумага. Сам хозяин, одетый, ворочался на постели, пристраивая ноги на спинку кровати.

– Что с тобой? – спросил я.

– Сволочи, – ответил он. – Работал, работал, а все псу под хвост.

– А что ты работал?

– Известно что – плакаты.

Чупров писал левые картины и был известен в либеральных кругах, как новатор. Но продавать полотна, отмеченные тлетворным влиянием Запада, было некому, с иностранцами он связываться боялся, а жрать надо было. Поэтому он делал плакаты: девушек с просветленными лицами на фоне кремлевских стен, шахтеров в полной подземной амуниции, шагающих уверенной поступью к светлому будущему, молодых инженеров в комбинезонах с кронциркулем в нагрудном кармане и с "Историей КПСС" подмышкой. Платили ему здорово, хотя и нерегулярно.

– Что, не приняли работу? – спросил я. – У тебя что же, договора не было?

– В том-то и штука, что не было. Я думал, им выбирать будет не из чего, ну, и решил рискнуть ради такого случая. Лево сделал, в своей, свободной манере. Соображаешь? Приношу, а там...

– Погоди, ради какого случая?

– Ты что, с луны свалился? Ради Дня открытых убийств. Без плакатов, небось, не обойдутся. Да ты слушай, не перебивай. Приношу, значит, я, а шеф – он же рутинер, академик, ермолки только не хватает. "Вы, говорит, Чупров, не по адресу обратились; такая, говорит, продукция для "Лай-фа", может быть, и подходит, а для нас не годится". И пошел, и пошел: "событие в жизни страны... партия нас ориентирует... большие идеи требуют четкого воплощения... чтоб вдохновляло... чтоб звало... вот, смотрите..." И показывает мне плакат Артемьева и Кравца. Ну, поверишь, старик, смотреть не на что! Это я говорю не потому, что мой плакат отвергли, а их приняли, ты же знаешь, как я отношусь к этой работе. Это для меня кормушка, не больше. Но ведь совесть-то надо иметь! Если делаешь, так делай по-настоящему! Не халтурь! Жми! А они, говнюки, намалевали какие-то манекены, – не разберешь, где живые, где мертвые – башенный кран на заднем плане лягнули – и готово, радуйтесь, красочный плакат! И, в конце концов, наплевать мне на деньги, я на Первом Мая достаточно отхватил, но жалко труда, идей жалко! Когда, наконец, у нас поймут, что теперь середина XX-го века, что искусство должно двигаться на новых... на новых... м-м-м, скоростях, что ли!

Чупров выпалил все это залпом и матюкнулся: пепел сигареты, обломившись, упал на подушку.

– Слушай, Саша, – осторожно сказал я, – а этот твой непринятый плакат...

Можно на него взглянуть?

– Отчего же нет? Гляди – вон он, у стены.

Я расчистил свободное место на полу и развернул рулон.

На фоне огромного, не то восходящего, не то заходящего солнца стояли условные юноша и девушка; солнце било им в спину, и красные тени их фигур ложились поперек плаката; внизу слева тени сливались с красной лужей, омывавшей угол условного дома; в нижнем правом углу лежал, вздернув колени и раскинув руки, труп.

– Ну, как? – спросил Саша.

Я подумал и сказал:

– Масса экспрессии.

Я ничем не рисковал: мне было доподлинно известно, что Саша никогда не читал Хакалы.

– Правда? – Саша просиял.

– Да, – продолжал я, – но мне кажется, что труп слишком кричит.

Саша живо соскочил с постели и, оттопырив губу, посмотрел на свою работу.

– Пожалуй, ты прав, старик, – сказал он. – И знаешь, отчего это? Мне бы следовало сделать это поусловнее, не таким реалистическим, не таким настоящим, что ли...

Мы пили коньяк; Саша рассказывал о своих занятиях, я слушал и рассказывал о том, что во всем виновата Зоя, что если бы не она, я бы и думать не стал об этом проклятом Дне убийств. Какое мне дело до него? Какого чёрта... Да пропади они пропадом! А Зойка – сука. Надо Павлику сказать. Нет, теперь уже не надо. Теперь, когда я отказался, она побоится. Сука, убийца. Все было так хорошо, нам было так хорошо, а теперь я больше к ней не прикоснусь. Да она и сама не даст. Из-за нее, это из-за неё я должен сидеть тут и слушать пьяные излияния Чупрова. Левый, новатор! Завтра объявят День педераста, и он сразу за кисти схватится. Будет вычерчивать рост гомосексуализма по сравнению с 1913 годом. Я больше не хочу никого убивать. Не хо-чу!

– Чего ты не хочешь? – спросил Чупров.

– Пить я больше не хочу.

– Больше и пить-то нечего. А почему это ты пить не хочешь? В самый раз. Погоди, я сбегаю за бутылкой... Или вот что: хочешь, я тебя с одним человеком познакомлю, со стариком, хочешь? У-у, какой старик! Он стихи пишет. Пошли, пошли, благодарить будешь, ты таких не видал никогда.

– Пошли!

Я встал, меня качнуло.

– Пошли, Саша! Пошли Александр Чупров! Пошли, гениальный художник. Он тоже гениальный? Он все объяснит?

– Все! Он все может объяснить – он официант!

## V

*Они в любом подъезде залегли,  
Они струятся запахом карболки,  
Они в траве, растущей из земли.  
В старинных книгах, дремлющих на полке.*

*Повсюду слышен шепот неживой  
И злой конец таит любая фраза.  
Они в воде, текущей в душевой  
И в смелом бормотанье унитаза.*

**Георгий Болотин. «Дьяволы смерти».**

Пока мы покупали водку, ловили такси и ехали куда-то к Даниловскому рынку, я успел немного протрезвиться. "А зачем и куда я еду? – подумал я. – На кой ляд мне этот старик? А впрочем..." Впрочем, воскресенье надо было как-то заканчивать. Старик, так старик. Подумаешь, великое дело: с женщиной расстался. С любовницей разошелся. С бабой расплевался. Старик так старик.

Саша остановил машину и расплатился.

– Ты посиди тут, а я пойду узнаю, можно ли к нему. Я мигом...

Я улегся на скамейку бульвара и закурил. За спиной дребезжали трамваи. По дорожкам молодые отцы возили в колясках младенцев. Надраенные солдаты гуляли с девушками, чинно-благородно вели беседу и не лапали – было еще светло. Я поднял глаза.

Новые восьми-девятиэтажные дома стояли разомкнутым строем параллельно бульвару; их светлые кирпичные лица с чисто промытыми глазами доброжелательно и обнадеживающе глядели на молоденькую зелень посадок. Но в разрывы этого парадного оптимизма упорно, с мрачным сознанием собственного превосходства уставились серые здания тридцатых годов. Поставленные углами к бульвару, клиноподобным строем, немецкой "свиньей", – они, не трогаясь с места, все же надвигались из глубины дворов. И такая уверенность в своей правоте чувствовалась в них, такая непоколебимая верность идее, что казалось: восстань только из гроба Зодчий, породивший их, протяни он указующую длань – и серые утюги двинутся вперед, сметая картонную мишуру новостроев, равняя с асфальтом автоматические лифты, финскую мебель, двухтомники Хемингуэя и фиги в карманах модных брюк.

Чупров появился около меня внезапно, словно из-под земли выскочил.

– Айда, – сказал он. – Маэстро дома.

Я пошел за ним, толкаясь грудью о бутылки, засунутые во внутренние карманы пиджака.

В чистенькой, вылизанной до блеска однокомнатной квартирке нас встретил маленький старичок с шевелящимися бровями. На нем поверх трикотажных спортивных брюк была надета старомодная пижама со шнурами, похожая на гусарскую куртку; из-под пижамы выглядывала черная косоворотка с белыми, как на баяне, пуговками.

– Прошу, – сказал он. – Очень приятно. Арбатов, Геннадий Васильевич. А вас как прикажете величать? А по батюшке? Анатолий Николаич. Очень приятно. Проходите, садитесь, не обессудьте за беспорядок: холостяцкую жизнь веду, супруга на даче пребывать изволит.

Мы прошли в большую, продолговатую комнату; мебель была новая, ухоженная скатерть на круглом массивном столе заботливо прикрыта прозрачной клеёнкой, на диване-кровати, как горох, мал-мала меньше лежали подушки. Одна стена была наглухо затянута серым занавесом.

– Вот, Геннадий Васильич, друг мой Толя очень интересуется вашими

стихами, – сказал Чупров. – Вы почитаете нам?

– Экой вы, Сашенька, скорый. Все торопитесь, все спешите. А позволительно спросить, куда? Всему свой черед. Не гоните быстролетное время, успеете. Вот мы выпьем водочки с Анатолием Николаевичем, посудачим о том, о сем, обмахаемся, как муравьишки, усиками. А там и до стихов рукой подать. "Стишок – отрада для кишок", как говаривал один мой добрый приятель. Вы, Анатолий Николаич, согласны со мной?

– Да не называйте вы его Анатолием Николаевичем! Толя – и все!

– Нет, любезный мой Сашенька, не могу-с! Мы с молодым человеком первый раз встретились, пуд соли не съели. Все принимаю в нынешней жизни, все приветствую и, как говорится, поздравляю, а вот с новомодной привычкой, этой привычкой не величать – согласиться никак не могу. Меня, ежели угодно, с пятнадцати лет Геннадием Васильевичем звали. И правильно! Ибо уважительное обращение человека возносит, приподнимает, так сказать, над грешной землей. Как вы считаете, Анатолий Николаевич?

– Да как вам удобнее будет, – сказал я. – Хоть горшком назови...

– ...только в печку не ставь, – закончил старик.

Он говорил, а сам быстро и аккуратно накрывал на стол. Рюмки, вилки, тарелочки, редис, огурцы, нарезанный хлеб, колбаса возникали на столе со сказочной быстротой. И также быстро, как заученные, сыпались из него слова – округлые, уютные и старомодные, как вилки с костяными черенками. Он разлил водку по рюмкам, и мы выпили.

– Да, насчет горшка и печки вы правильно заметили, Анатолий Николаич. А между прочим, обратное явление наблюдается: один другого так и норовит и горшком обозвать, и в печку сунуть – на уголечки, на жарок...

– Люди – звери, – мрачно сказал Чупров. Он, очевидно, вспомнил непринятый плакат.

– Напрасно, Сашенька. Напрасно зверей обижаете. Не изволили замечать, о чем люди в благодушном настроении охотнее всего рассуждают! О зверях, о зверушечках. А почему? А потому, что они всем милы. О книжках, скажем, о картинках, о статуях разных – обо всем спорят. О политике, само собой. А о зверях и спорить нечего. Вот в журнале весной этой прочел я статейку с фотографиями про зоопарки разных государств, директор Московского зоопарка написал – и приятно-с. Казалось бы, какая мне корысть, что в Италии чепрачный тапиренок родился? А читаю – и сердце радуется. И все так-то. Скоро звери единственным связующим звеном, единственной точкой соприкосновения между людьми будут. Звери, молодые люди, – это не просто животные, это – носители, хранилища духовного начала!

Я невольно вскинул голову от тарелки – так несходны были эти последние фразы со всей его предыдущей речью – со "статуями", "родился", "изволили замечать". Старик увидел моё движение и остановился. Саша немедленно ворвался в паузу:

– Выпьем за тапиренка! Как его – чепрачный? За чепрачного тапиренка! Ура!

Мы выпили по несколько рюмок подряд. Старик быстро хмелел, и чем больше он хмелел, тем чище, тем интеллигентнее становилась его речь. Он уже больше не употреблял "слово-ер" Заложив ногу на ногу, вертя головой от Саши ко мне, он, понизив голос, быстро и очень внятно говорил:

– Никто из нас не знает, что скрыто в душе у другого. К примеру, наш с вами откровенный разговор есть ни что иное, как безумие, самоубийственное срывание одежд. Но если вы сорвете на улице одежду в буквальном смысле слова – вас отведут в милицию, оштрафуют, общественное порицание вынесут – и только! А откровенность, срывание одежд душевных – недопустимо! Как знать, а вдруг какое-то мое слово, какая-то идея уязвит вас в самое сокровенное, самое больное место, вопьется настолько сильно, что вырвать эту ядовитую занозу можно только ценой жизни моей?! И вы ринетесь убивать меня – спасти себя! А кто и что может воспрепятствовать вам? Или любому, другому, третьему? Кто из нас знает, сколько весит вражда, которую кто-то испытывает к нам? И чем она вызвана? Неловким словом, манерой закусывать, формой носа? Кстати, – он повернулся ко мне, – вы не еврей?

– Нет, – ответил я, трогая нос. – А что, похож?

– Да, есть что-то. Вот они, евреи, – мудрый народ. Они живут в страхе. И не в страхе Божиим, а в страхе людском. Они каждого рассматривают как возможного врага. И правильно делают. Что может быть страшнее человека? Зверь убивает, чтобы насытиться. Ему – зверю – наплевать на честолюбие, на жажду власти, на карьеру. Он не завистлив! А вот мы – можем ли знать, кто жаждет нашей смерти, кого мы, сами не зная о том, обидели? Обидели самым существованием своим? Ничего мы не знаем...

– Звери из-за самок насмерть дерутся, – сказал Саша.

Геннадий Васильевич двинул бровями:

– Это статья особая. Это – инстинкт продолжения рода. В зверях есть мудрость и простота: они не влюбляются. А вот человек... Стоит человеку влюбиться – и он готов на любую пошлость, на любое преступление. Недаром римляне говорили: "Фемина – морс аниме" – "Женщина – смерть души". Но я не об этом. Я спрашиваю вас, Саша, и вас, Анатолий: вы уверены, что среди ваших знакомых и друзей нету таких, которые могут вас убить? Я о себе скажу, что не уверен! А смерть... вы молоды, вы о ней не думали, а я – я старик. Я лежу ночью вот на этом самом диване – посмотрите на него, у него деревянная спинка – ворочаюсь с боку на бок, толкнувшись локтем о дерево и сразу: "Вот так будет и в гробу – дерево рядом, дерево сверху, дерево, дерево!..." Он перевел дух; голова его чуть заметно тряслась.

– И ничего нельзя предусмотреть. Ничто не поможет: ни осторожность, ни одиночество – ничто! И напрасно они спорят, толкуют, суется...

– Кто "они", Геннадий Васильевич? – спросил я.

– Эти вот – щелкоперы, – устало ответил старик.

Он встал, качаясь, и отдернул серую занавеску: вдоль всей стены протянулись стеллажи с книгами. Пестрые, переплетенные в цветистые ситцы писатели ворвались в комнату, как татарская орда, в клочья разорвав видимость благополучия, обманчивое спокойствие мещанского уюта, а с ними – скрипучие, громоздкие арбы философских систем, кривые зеркала сабель самоанализа, тупые тараны вселенского пессимизма, жеребцы цивилизации с желтой пеной человеконенавистничества на оскаленных мордах, вдребезги, всмятку, в лепешку топчущие седобородых евангелистов, воздевающих к равнодушному потолку распыляющиеся в атомную пыль заповеди...

– Все друг друга в ложке воды утопить готовы, – вздохнул Чупров, разливая остатки водки. ... Мы шли с Чупровым по пустым улицам. На перекрестках маячили

постовые, во всю силу горели неоновые вывески продмагов, каблуки резко и звучно стучали по тротуару, но даже этот стук, обычно так нравящийся мне, сейчас не радовал. До Дня открытых убийств оставалась ровно неделя.

## VI

*Восстать – не посметь, уйти – не суметь,  
И все одинаково, право:  
Что выйдет солдату – бесславная смерть  
Иль бессмертная слава.*  
**Г. Болотин. «Привал»**

Я перестал ходить на работу. Я позвонил в редакцию, сказал, что болен. Я валялся на постели, слонялся по комнате и часами рисовал профили на оберточной бумаге, в которой приносил из магазина колбасу.

За всё время у меня был только Володька Маргулис, который сразу, как пришел, задал мне дурацкий вопрос: "Зачем им всё-таки понадобился этот Указ? "Им" – это правительству. Я промолчал, и он, обрадовавшись, что я никаких своих суждений не имею, стал объяснять мне, что вся эта чертовщина неизбежна, что она лежит в самой сути учения о социализме.

– Почему? – спросил я.

– А как же? Все правильно: они должны были легализовать убийство, сделать его обычным явлением, поэтому и не объясняют ничего. Раньше объясняли, агитировали.

– Ты чушь порешь! Когда?

– В революцию.

– Ну, это ты загнул. Революция не так и не для того делалась.

– А тридцать седьмой год?

– Что тридцать седьмой?

– То же самое. Полная свобода умерщвления. Только тогда был соус, а сейчас безо всего. Убивайте – и баста! И потом, тогда к услугам убийц был целый аппарат, огромные штаты, а сейчас – извольте сами. На самообслуживании.

– Ох, Володька, хватит! Твои антисоветские монологи перестали быть остроумными.

– А ты что, обиделся за Советскую власть? Ты считаешь, что за неё следует заступаться?

– За настоящую Советскую – конечно, следует.

– Это которая без коммунистов? Как у Шолохова в "Тихом Доне"?

– Иди к чёрту!

– Оч-чень убедительный ответ! – съязвил Володька. – А ты...

– Хватит, – сказал я.

Мы помолчали, а потом он, обиженный, ушел.

Я снова лег на постель и начал думать. Почему и зачем издан этот Указ – это мне все равно. И нечего подводить под это научную базу и трепаться о революции. Я этого не люблю. Мой отец в Гражданскую комиссарил, и я думаю, он знал, за что воевал. Я его плохо помню – его взяли в тридцать шестом, одним из первых, – но

после смерти матери я нашел его письма. Я их прочел, и, по-моему, люди моего поколения не имеют права болтать о тех временах. Мы можем и должны решать каждый за себя. Это все, что нам осталось, все, что мы в состоянии сделать, но и этого много. Слишком много.

Этот самый Арбатов, старик с Даниловского бульвара, разбередил меня. Да, я не хочу и не могу убивать, но могут захотеть и смочь другие. И объектом их усердия могу сделаться я – я, Анатолий Карцев! Я снова, как в день последнего свидания с Зоей, перебирал своих врагов. Этот не может. Этот хотел бы, но струсит. Этот может – камнем, кирпичом из-за угла. Кто ещё? Этот? Нет, он мне не враг. Не враг? А откуда я знаю? А может и враг! И потом, почему убить меня могут только враги? Любой прохожий, любой пьяный, сумасшедший дурак может выстрелить мне в лицо, чтобы полюбоваться, как я дрыгаю ногами. Как я истекаю жизнью на асфальте. Как я заостряюсь носом, проваливаюсь щеками, отвисаю челюстью. Как через дырку в черепе уходят мои глаза, мои руки, мои слова, моё молчание, моё море, мой песок, мои женщины, мои неуклюжие стихи...

К чёрту! К чёртовой матери! Я не могу позволить им убить себя. Я должен жить. Я спрячусь, забаррикадируюсь, я пересажу у себя в комнате. Я не хочу умирать. Не хо-чу! Живые сраму не имеют. Лучше живая собака...

Стоп! Надо взять себя в руки. Надо успокоиться. Лучше живая собака. Я накануне куплю еды и в воскресенье не буду выходить совсем. Я буду лежать на постели и читать Анатоля Франса. Я очень люблю Анатоля Франса. "Остров пингвинов". "Восстание ангелов". Есть еще "Анатоль Франс в халате". Когда мне случилось ночевать у Зои, она надевала на меня халат Павлика и безумно веселилась. Тогда я не понимал, чему она так радуется, а теперь понимаю. Она думала, что овдовела и вышла за меня замуж. Интересно, каким способом она собиралась убить Павлика? Пересидеть воскресенье. Соседи тоже будут пересидывать. Конечно, могут ворваться в квартиру. Надо укрепить входную дверь. Украсть внизу на стройке лом и заложить дверь. Ломом по голове. Если они ворвутся, я их буду бить ломом, как собак. Лучше живая собака. Недавно я был на собачьей выставке. Мне очень понравились борзые – с головами узкими и длинными, как дуэльные пистолеты. А на дуэли я смог бы драться? Пуля Пушкина попала Дантесу в пуговицу. Если я буду выходить в воскресенье, надо положить портсигар во внутренний карман пиджака, слева, где сердце. "Слева, где сердце" – это роман Леонгарда Франка, очень скучный. А Бруно Франк – это совсем другое, он написал книгу о Сервантесе. А что делал бы Дон Кихот 10-го августа? Он ездил бы по Москве на своем Россинанте и за всех заступался бы. На своем персональном Россинанте. Чудак с медным тазом на голове, он проехал бы по Красной площади, готовый переломить копьё во имя Прекрасной Дамы, во имя России. Бедный рыцарь на московских мостовых 1960 года, он искал бы своего друга, своего единомышленника – украинского хлопца, пропевшего когда-то песню о Гренаде. Но заложены булыжником следы боевых теней, и ямки, выбитые в земле древками полковых знамен, залиты асфальтом. Никого он не найдет, фантазер из Ламанчи. ни-ко-го! Уж это я точно знаю. Где они – те, что пошли бы за Дон Кихотом? Чупров? Маргулис? Игорь? Нет, нет, если они и будут драться, то только каждый за себя. Каждый за себя будет драться, каждый за себя будет решать. Постой, постой, кто это недавно говорил: "Мы должны решать каждый за себя"? А-а, это я сам говорил, я сам к этому пришел. Так чего ж я взялся судить других? Чем они хуже

меня? Чем я лучше их?

Я вскочил с постели и с отвращением уставился на подушку, сохранившую вмятину от моей головы. Это я там лежал? Это я запасался жратвой и закладывал двери ломом? Это я трясся, как последняя тварь, за свою драгоценную шкуру? Это я чуть в штаны не нагадил от страха? Так чего ж я стою со всем своим великолепным пафосом разоблачения, презрения, со своей вонючей сторонней позицией? Понтий Пилат, предающий ежедневно свою собственную душу, – чего я стою?

Да, каждый отвечает сам за себя. Но за себя, а не за того, кем тебя хотят сделать. Я отвечаю за себя, а не за потенциального шкурника, доносчика, черносотенца, труса. Я не могу позволить им убить себя и этим сохранить свою жизнь.

Погоди, а что я буду делать? Я выйду послезавтра на улицу и буду кричать "Граждане, не убивайте друг друга! Возлюбите своего ближнего!?" А что это даст? Кому я помогу? Кого спасу? Не знаю, ничего не знаю... Может быть, я спасу себя. Если не поздно.

## VII

Останьтесь здесь! Куда же вы пойдете  
В тоске безумной, в ярости слепой -  
Ведь ангелы на бреющем полете  
Прносятся над воющей толпой,  
Ведь тыщи гадов, позабыв о власти  
Земных законов, вышли из болот,  
Они шипят, распяливая пасти,  
И матери выкидывают плод.  
Останьтесь здесь! Вас жизнь сама призвала  
Глашатаями согнанных сюда.  
Упейтесь, вдохновитесь до отвала  
Бессмысленностью Страшного суда!

**Георгий Болотин. «Вам, поэты!»**

Десятого августа я встал в восемь часов утра. Побрился, позавтракал, почитал. За что я ни брался, я все равно неотвязно думал о том, что я должен выйти из дому. Об этом напоминали мне и репродукторы, наявивавшие бравурные марши за окном, и кошки, зигзагами гулявшие по мостовой, восхищенные внезапным безлюдьем, и то, что соседи не выходили ни в кухню, ни в уборные – все совершали у себя в комнате.

Часов в одиннадцать я оделся, положил портсигар, куда собирался, и вышел на лестницу.

Я спускался по ступенькам не торопясь и бесшумно, так что, когда я на повороте столкнулся с соседкой с

третьего этажа, это было неожиданностью для нас обоих. А то, что произошло потом... Она вскрикнула, метнулась в сторону, сетка с бутылками ударилась о перила. Зазвенело стекло, кефир хлынул сквозь ячейки авоськи на площадку. Женщина поскользнулась в густой кефирной луже и, ойкнув, грузно села на ступеньки. Я бросился помогать ей. И тут она крикнула второй раз и, закрыв глаза, стала слабо отталкивать меня трясущимися руками.

Она открыла глаза, медленно подняла ко мне свое мертвое лицо.

– Толя, Толя, – бормотала она невнятно. – Я же вас маленького... на руках... я вашу маму... Толя!

– Анна Филипповна, да что с вами? Здесь стекло, вы же порежетесь!

– Толя, – сказала она, – ведь я... ведь я... я подумала... Я кефирчику для Анечки, для внучки... Ох, Толя!...

И она заплакала, её грузное, оплывшее шестидесятилетнее тело содрогалось. Я поднял ее, подобрал сумку.

– Зиночка больна, а Борис в командировке, вот я за кефирчиком...

Сверху, с третьего этажа, уже бежала в распахнутом халате Зина, её дочь, моя одноклассница.

– Мама! Что с тобой? Кто тебя? Что с тобой?

– Ничего, Зиночка, ничего. Я вот упала...

– Говорила я тебе, – начала Зина.

– Зина, отведи-ка мать домой, а я схожу за кефиром.

Я вынул залитые кефиром батоны и отдал их Зине.

– Толя, а деньги-то, деньги!...

...Когда я разделался с этим кефиром и снова вышел на улицу, стало еще жарче. Парило, как перед грозой, и я взял пиджак на руку, забыв о спасительном портсигаре. На душе у меня было мерзко; перед глазами стояло помертвевшее лицо соседки, я слышал её бессвязный и бессмысленный лепет: "Толя, Толя..." Я шел по Никитскому бульвару. Он был такой же, как всегда, – веселый, нарядный, весь, как лошадь в яблоках, в крохотных тенях листьев. Только сегодня на нем не было детей. Подростки в рубашках с закатанными рукавами, развалившись на скамейках, поплевывали через плечо в газоны, да посреди аллей, надменно вздернув подбородок, шел пожилой мужчина, ведя на поводке огромного дога без намордника.

Когда я вышел на Арбатскую площадь, я увидел

бегущих людей. Они торопились куда-то за старое метро, куда – я не мог увидеть: мешало здание кинотеатра. Я перебежал дорогу и протолкался сквозь толпу.

На земле, головой к стене, лежал человек. Он лежал в той самой позе, в какой был изображен труп на плакате Саши Чупрова: раскинув руки, завалив на бок согнутую в колене ногу. По рубашке расплзлось красное пятно; рубашка была белая, вьетнамская – у меня тоже есть такая, мне её весной купила сестра. Он лежал совершенно неподвижно, и солнце отражалось в узких носках его модных туфель. Я даже как-то не сразу понял, что он мертв; а когда понял, меня пробрал озноб. И потрясло меня не убийство, не смерть, а именно эта чуть ли не мистическая реализация графических бредней Чупрова: почему он лежит в точно такой позе? Он почти упирался запрокинутой головой в раму афиши; на афише лихой черно-белый танцор анонсировал декаду осетинского искусства и литературы. Рядом висела полуоборванная реклама Политехнического музея:

"Кандидат экономических наук Г.С. Горнфельд прочтет лекцию на тему: "Вопросы планирования и организации труда на предприятиях..."

Дальше было оборвано.

Собравшиеся негромко переговаривались:

– Молодой.

– А может, он жив еще?

– Что вы! Он скончался: я зеркальце подносила, вот это, из сумочки.

– Кто ж это его?

– Цветочница говорит: "Подлетел длинный такой, загорелый, и выстрелил.

Окликнул его, а он обернулся, он и выстрелил."

– Кто обернулся?

– Господи, да покойник же!

– И милиции, как на тех, нет!

– Когда не надо, они всегда тут.

– Погоди, папаша, а причем тут милиция?

– Как это причем? Человека убили!

– Ну и что?

– Тьфу ты, дурак какой! Человека, говорю, убили!

– А ты, отец, полегче. Не дурей тебя. Газеты читаешь? Сегодня – можно!

– Ты, парень, не ори: покойник рядом. Газеты – газетами, а совесть знать тоже надо.

– Вы, уважаемый, что-то не то говорите. По-вашему, совесть и правительственный указ – вещи разные? Я бы на вашем месте поостерегся

агитацией заниматься!

– А ты, милоч, ступай отседова, пока я тебя клюшкой промеж очков не ляпнул!

– Боевой какой старикан!

– Мух-то отогнать надо бы. Нехорошо.

– Что ж это, милые мои, значит, какой ни есть хулиган пырнет вот эдак – и ничего ему за это не будет?

– Газеты, мамаша, читать надо. Сказано: "Свободное умерщвление". Но ты не тушуйся: побьют кого надо – и все.

– А кого это надо?

– Там знают кого. Зазря указ писать не станут.

– Как бы не раздели покойника. Туфли-то на нём...

– Грабить нельзя. Тут дело государственное.

Я выбрался из толпы и пошёл прочь.

Я не помню сейчас, где я бродил, сколько улиц и площадей я прошагал и как я добрал до Красной площади.

Многолетним благоговением, плотным и осязаемым до отказа, до крыш и куполов, была забита выпуклая, прямоугольная коробка площади. Голые бетонные параллели трибун, трехъярусные кубы гробницы, прямые углы невысокого парапета, наивные двузубые стены – весь этот с детства, с младенческого лепета знакомый и любимый мною узор, непреложный и бескомпромиссный, как чертеж теоремы, внезапно ударил меня в мозг, в душу, в сердце. Дано: идея; требуется доказать: воплощение. И чертят, чертят оледеневшие в своем рвении геометры, чертят, положив бумагу на склоненную перед ними спину, чертят и не замечают, не хотят замечать, что прорвалась бумага, что сломался грифель, что по коже, по мясу бороздит обернувшийся шпигрутенном карандаш! Остановитесь! Нельзя же, нельзя такой ценой! Ведь люди же! Ведь не этого он хотел – тот, кто первым лег в эти мраморные стены!...

Меня сбили с ног. Я упал, и прежде, чем я успел подняться, на меня навалился человек. Он сжал мне горло, но я резко дернулся и высвободил шею. Мы покатались, стучаясь головами о тесаный булыжник, стискивая друг друга и тщетно пытаясь упереться ногами в скользкий, недавно политый камень. Передо мной мелькало голубое небо, пестрота Василия Блаженного, красный мрамор куба и две неподвижные статуи с винтовками, охранявшие мертвецов. Мы поднялись к ногам часовых. Здесь мне удалось, наконец, двинуть его коленом в живот. Он разжал руки, и я вскочил, пошатнулся, наступил на ногу часовому. Мой противник тоже поднялся, и я ударил его в челюсть, раз и еще раз, и он снова упал и пополз, и хотел встать, и руки у него подломились, и он сел, привалясь спиной к мавзолею, и, сплевывая красную слюну, прохрипел:

– Я готов. Бей!

Я поднял валявшийся у парапета пиджак и сказал, задыхаясь:

– Сволочь.

Он ответил:

– По приказу Родины...

Я оглянулся на часовых. Они так же неподвижно стояли, как и три минуты назад, и только один из них, скосив вниз глаза, смотрел на пыльное пятно, оставленное моим каблуком на его начищенном сапоге...

Я пошел домой.

## VIII

*От прочих раковину отличив,  
Обидел её Господь:  
Песчинку колючую взял и швырнул  
В её беззащитную плоть.  
А если в дом твой Нечто войдет,  
Куда убежишь от зла?  
И шариком белым, прозрачным зерном  
Жемчужина там росла.*  
**Ричард О'Хара. «Лагуна».**

Октябрьскую годовщину мы праздновали все той же компанией. После долгих переговоров решено было собраться у Зои и Павлика: у них отдельная двухкомнатная квартира, магнитофон с записями Вертинского и Лещенко, масса посуды – одним словом, женщины решили, что так будет лучше всего.

Я, когда мне сказали, что вечер устраивается там, сначала решил, что не пойду, а потом... а потом я подумал: "А какого чёрта, собственно говоря? Компания своя, кормят там вкусно, а то, что я знаю про Зою... будем считать, что я ничего не знаю". Я, правда, был не совсем уверен, что Зое все равно – буду я или не буду, и поэтому я сказал Лиле, что еще не знаю, пойду ли я куда-нибудь вообще, что настроение у меня плохое, и что пусть Зоя позвонит накануне – тогда я скажу наверняка. А про себя решил, что во время разговора соображу, как поступать.

И Зоя позвонила.

Она поздоровалась со мной как ни в чем не бывало, спросила о здоровье, о настроении и о том, приду ли я. Она говорила со мной, и я отвечал ей и слышал её дыхание в телефонной трубке. Она сказала:

– Пожалуйста, приходи, Толя. Я очень тебя прошу. Я буду ждать тебя. Ты мне испортишь праздник, если не придешь.

Я сказал ей в трубку:

– Знаешь, Зоя, если я приду, то приду не один.

– А с кем?

– Ты её не знаешь, – сказал я.

Зоя помедлила самую малость и сказала:

– Ну, конечно, приходи с кем хочешь. Ты же знаешь, мы все будем рады твоим друзьям.

И мы попрощались.

"Ты её не знаешь", – сказал я. Это была святая правда: я и сам не знал, кого я имел в виду.

Я перебрал в уме всех своих приятельниц, разумеется, одиноких. Их было немало, но вся беда в том, что такое приглашение они истолковали бы слишком многозначительно, а у меня не было ни малейшего желания заводить новые романы. Может быть, пойти одному? Но мною вдруг овладел бес мальчишеской мстительности: я во что бы то ни стало должен доказать Зое, что мне на неё наплевать. Я решил позвонить Светлане. Светлана – это художница из нашего

издательства, ей года двадцать три. Она очень мила, явно равнодушна ко мне и достаточно скромна, чтобы не вообразить Бог знает что. Она очень обрадовалась, когда я пригласил ее, смутилась и залепетала, что это неудобно, что она ни с кем не знакома, что, право, она не знает...

– Ерунда, Светочка, – сказал я. – Все они очень милые люди, и если вас не смущает, что они перепьются и будут петь блатные песни и, может быть, ругаться при этом, то... В общем, я вас жду завтра в пол-десятого на углу Столешникова, там, где книжный магазин. ... Мы пришли, когда все уже давно сидели за столом. Бутылки на треть были опорожнены, мужчины сняли пиджаки, и кто-то уже порывался запеть. Но благолепие праздничного стола не было окончательно разрушено: окурки еще не тыкали в тарелки и не путали рюмок.

При виде нас все радостно загалдели. Они галдели и разглядывали Светлану.

– Это Светлана, прошу любить и жаловать, – сказал я. – Держите бутылки, кормите и поите нас.

– Светланочка, деточка, идите сюда, – пропела Лиля. – Эти мужики совсем отбились от рук, сами едят и пьют и не оказывают нам никакого внимания. Но мы без них обойдемся, правда?

– Без нас не обойдетесь! – захохотал Павлик.

– Мы...

– Штрафную, штрафную! – кричал Володька.

– Светлана, вот ваш бокал, – Игорь налил сухого вина. – А может, вы выпьете коньяку? Водку я не решаюсь предлагать.

– Нет, нет, что вы, спасибо, – Светлана улыбалась несколько напряженно.

– Толя, куда вы пропали, почему не приходите? Мишенька все время спрашивает: "А где дядя Толя? А когда он придет?" – Эмма, Володькина жена, положила бюст на стол и округлила рот и глаза, изображая сына. Одета она была, как всегда, ярко и безвкусно.

– Итак? – Зоя протянула мне рюмку водки.

– Итак? – отозвался я.

– С праздником! С праздником вас, опоздавшие! – Павлик потянулся ко мне через стол – чокаться. – Я уж боялся, что вы не придете. Мы с Зоей...

– Павлик, ты льешь.

– Прости дорогая... Мы с Зоей...

– Павлик, передай салат, пожалуйста.

– Мы с Зоей... Да что ты мне слова сказать не даешь?!

– Я просто хотела попросить тебя, чтобы ты и мне налил вина.

Шум нарастал. Уже не было общего разговора. Уже Игорь всюду ухаживал за Светланой, уже Лиля, выскочив из-за стола, повисла на каком-то длинном парне, которого все называли "Геолог Юра", уже Володька читал громко стихи модного молодого поэта, плохие стихи с неряшливыми, как болтающиеся шнурки, рифмами. На него наскакивала востроносая девица и кричала, что поэт – пошляк, а стихи – бездарные.

– Пошляк – а гражданское мужество?! – орал Володька. – Бездарные – а "Комсомольская Правда" его ругает!

Все веселились. Павлик налаживал магнитофон. Эмма ела салат. Геолог Юра повторял: "Мы там отвыкли от майонеза". Я выпил три рюмки и невесть чего обозлился.

– Слушайте, друзья, – сказал я, покрывая разноцветный шум пирушки, – а вы знаете, что я вас всех чертовски люблю!

– Толинька!

– То-ля!

– Толя, лапонька!

– Ведь это ужасно глупо, что мы так редко встречаемся, – продолжал я. – Когда мы последний раз собирались?

– Последний раз?

– В самом деле – когда?

– А я знаю! – закричала Лиля. – Последний раз мы собирались у нас на даче! Когда объявили про День открытых убийств!

Все разом замолчали. Даже наладившийся было магнитофон скрипнул каким-то своим тормозом и остановился. И только Эмма с разгону продолжала говорить:

– ...а в школе у них организованы горячие завтраки...

Но оглянувшись на тишину умолкла и она. Пауза длилась, затягивалась, становилась уже неприличной.

– В самом деле, – сказал Игорь, – столько времени прошло, столько событий. Десятое августа...

– Мы с Зоей, – закричал Павлик, – мы с Зоей пересидели спокойненько... Телевизор, магнитофончик... На другой день меня на работе спрашивают...

И тут всех будто прорвало:

– ...а я ему говорю: "Я тебя первого пристукну! Ты, говорю, падло! И загнул, знаешь, как я умею!..."

– В Одессе блатные поймали начальника милиции. Ну, он, конечно, в форме был. Так что они сделали? Переодели его в какую-то рвань и отпустили. Понимаете, отпустили! А потом догнали и... кончили! Их еще потом судили.

– Ну-у?

– Осудили... за грабеж!

– Слушайте, слушайте, что было в Переделкине! Кочетов нанял себе охрану – из подмосковной шпаны. Кормил, поил, конечно. А другие писатели тоже наняли – понимаете? Чтобы Кочетова прихлопнули!

– Ну, и что же было?

– Что было! Драка была – вот что! Шпана между собой дралась!

– Ребята, а кто знает: много жертв было?

– По РСФСР немного: не то восемьсот, не то девятьсот, что-то около тысячи. Мне один человек из ЦСУ говорил.

– Так мало? Не может быть!

– Правильно, правильно. Эти же цифры по радио передавали. По заграничному, конечно.

– Ух, и резня там была! Грузины армян, армяне азербайджанцев...

– Армяне азербайджанцев?

– Ну да, в Нагорном Карабахе. Это же армянская область.

– А в Средней Азии как? Там тоже, небось, передрались?

– Не-ет, там междуусобия не было. Там все русских резали...

– Письмо ЦК читали?

– Читали!

– Не читали! Рассказывай!

– Во-первых, про Украину. Там Указ приняли как директиву. Ну и наворотили. Молодёжные команды из активистов, рекомендательные списки: ну, про списки сразу известно стало – разве такое в секрете удержишь? И пришлось спецкомандам облизнуться: все, кто в списках значился, удрали. Так что это дело у них бортиком вышло. И еще ЦК им приложил – за вульгаризацию идеи, за перегибы. Четырнадцать секретарей райкома и два секретаря обкома – фьют!

– Ну да?

– Абсолютно точно. А в Прибалтике никого не убили.

– Как никого не убили?!

– А так! Не убили – и баста!

– Да ведь это демонстрация!

– И еще какая! Игнорировали Указ, и все. В письме ЦК устанавливается недостаточность политико-воспитательной работы в Прибалтике. Тоже кого-то сняли.

– ...бежит по переулку, кричит и стреляет, стреляет! Очередями по окнам! Откуда он автомат раздобыл? В Авиационно-технологическом автомат преподает...

– А мы двери на замок, шторы опустили – и в автоматчика...

– Я ему говорю: "Не смей, подумай о детях!" А он: "Я пойду на улицу!" – и даже зубами закрипел. Миша плачет... Еле его уговорила.

– ...в "Известиях" статья этой, как её... Елены Коломейко. О воспитательном значении для молодежи. Она еще как-то с политехнизацией и с целинными землями увязала...

– В "Крокодиле"! Там такой рисунок: он лежит...

– А мы с Зоей жалели только, что никого из своих нет: веселее было бы...

Миновало, миновало, миновало! Это произнесенное словечко прорывалось сквозь анекдотические рассказы, сквозь нервный смешок, сквозь фрондеровские реплики в адрес правительства. Впервые со Дня открытых убийств услышал я, как люди говорят о случившемся. До сих пор, когда я заговаривал с ними об этом, они смотрели как-то странно и переводили разговор на другое. Я подчас ловил себя на дикой мысли: "А не приснилось ли мне все это?!" А теперь – миновало! А теперь мы справляем 43-ю годовщину Великой Октябрьской Социалистической Революции!

Четверо – Светлана, Зоя, Володька и я – молчали. А водоворот впечатлений, рассказов, слухов, сведений крутился, повисал пестрой радугой, брызгал пеной на бежевые обои:

– У неё в экспедиции все было тихо-мирно. У нас нельзя – тайга кругом. Сегодня – ты, а завтра я...

– Он на рассвете покончил самоубийством, сосед наш... Тихий такой старичок, официантом в "Праге" работал...

– Я всю ночь не могла заснуть, казалось, кто-то скребётся...

Я вспомнил, как в ночь на 11-е августа я вышел и увидел идущие по Садовой машины для поливания улиц; они шли широким фронтом, раскинув водяные щетки и мыли, мыли, мыли мостовую и тротуары...

Дождавшись, когда Светлана повернется ко мне, я тихонько показал ей глазами на дверь. Она вышла, а через минуту вышел и я. В кухне было уютно и тихо.

– Ну как, Светлана? Нравится?

– Я не понимаю, Толя. Они действительно были все очень милые, а потом, когда начали про это говорить... Почему они так радуются?

– Они радуются, что уцелели, Светочка.

– Но они же все прятались! Их же, – Светлана запнулась, подыскивая слово, – их же... запугали!

– Запугали? – я взял Светлану за плечи, – Света, вы понимаете?..

Нет, она не понимала. Она не могла понять, что самым этим словом ответила на вопрос, который задавали себе и друг другу миллионы растерявшихся людей. Она, эта девчушка, не могла понять, что стала вровень с государственными мужами, с зоркими пастырями народа, вровень с мудрым шелестом бумаг в затемненных кабинетах, вровень с негромким и почтительным бормотанием референтов, вровень с тем, что так торжественно именуется Державой. Ей казалось, что она сказала это слово мне, а она нечаянно бросила его в лицо огромным правительственным зданиям, черно-белым гектарам газет, ежедневно устилающих страну, согласному реву общих собраний, навстречу дьявольскому лязганью гусениц, несущих разверстые пасти орудий на праздничные парады.

Я обнял её и сказал:

– Хватит об этом, Света. Я хочу вас поцеловать, давно уже хочу, разве ты не видишь?.. ... И вот, проводив Светлану, я иду домой. Я иду по знакомым улицам, по переулкам, которые я мог бы пройти с закрытыми глазами. Сквозь тюлевые занавески розовеют пышные кринолины абажуров. У подъездов расстаются и никак не могут расстаться парочки. Каменный Тимирязев задумчив, как палец, приставленный ко лбу. Откуда-то гремит радио, где-то взвизгивает тормозами машина. Шумят развеселые компании, так же, как я, возвращающиеся из гостей. Где-то в своих комнатах на каких-то своих этажах сидят люди и бормочут ругательства, стихи, признания в любви.

Это – говорит Москва.

Я иду по улице, по тихому уютному бульвару, нащупываю в кармане тетрадь и думаю о том, что я написал. Я думаю, что написанное мною могло быть написано любым другим человеком моего поколения, моей судьбы, так же, как и я любящим эту проклятую, эту прекрасную страну. Я судил о ней и о её людях, и о себе самом лучше и хуже, чем следовало бы судить. Но кто упрекнет меня за это?

Я иду и говорю себе: "Это – твой мир, твоя жизнь, и ты – клетка, частица ее. Ты не должен позволять запугать себя. Ты должен сам за себя отвечать, и этим – ты в ответе за других". И негромким гулом неосознанного согласия, удивленного одобрения отвечают мне бесконечные улицы и площади, набережные и деревья, дремлющие пароходы домов, гигантским караваном плывущие в неизвестность.

Это – говорит Москва.

1961.